

Мы всё же грезим русский сон  
Под чуждыми нам именами...

(«Русская революция», 1919)

Несмотря на резкие зигзаги в историческом движении России, считает Волошин, в государственной её сути вряд ли что изменится коренным образом, ибо «социализм сгущённо государственен по своему существу». Поэт убеждён, что «тяжёлая и кровавая судьба России на путях к Граду Невидимому проведёт её ещё и сквозь социал-монархизм, который и станет ключом свода, возводимого теперешней гражданской войной».

Зимой 1918 года в записях И. А. Бунина появилась библейская цитата – из книги Иеремии, чьё пророческое служение пришлось, кстати, на самый мрачный период иудейской истории: «Мир, мир, а мира нет. Между моим народом находятся нечестивые: сторожат, как птицеловы, припадают к земле, ставят ловушки и уловляют людей. И мой народ любит это. Слушай, земля: вот Я приведу на народ сей пагубу, плод помыслов их». Бунина здесь особенно привлекало выражение «...пагуба, плод помыслов их», то есть та самая, как писал Достоевский, «невинная, милая, либеральная болтовня» людей, которых «пленил не социализм, а чувствительная сторона социализма».

М. Волошин в эпоху революции и Гражданской войны так же смотрит на происходящее сквозь призму библейских истин и пророчеств. Его вера в судьбу России метафорически выражена в стихотворении «Видение Иезекииля» (1918), в основе которого лежит идея кары, постигшей народ Израиля за вероотступничество и идолопоклонство, и – последующего возрождения Иерусалима к новой жизни. Исполненную того же пафоса идею поэт воспринял в финале «Преступления и наказания» и выразил уже в своей ранней статье «Пророки и мстители» (1906): «В пророчестве Достоевского чувствуется именно эта катастрофа: новое крещение человечества огнём безумия, огнём св. Духа. Нынешнее человечество должно погибнуть в этом огне, и спасутся те немногие, которые пройдут сквозь это безумие невредимыми...»

«Поруганной и нищей» России, считает Волошин, предстоит долгий и мучительный путь. Однако «дух Истории» и «сгусток воли» выведут её судьбу на новые рубежи, помогут ей преодолеть разруху и террор, бесчестье и голод. Долг поэта – быть сопричастным судьбе России-Славии, верить в неизбежность и предначертанность её путей, гореть и не сгорать в пламени Неопалимой Купины.

## НЕ ИЗГОЙ, А ПАСЫНОК РОССИИ...

...Всей грудью к морю, прямо на восток,  
Обращена, как церковь, мастерская,  
И снова человеческий поток  
Сквозь дверь её течёт, не иссякая.

### Дом Поэта

*...Он так же давал, как другие берут. С жадностью. Давал, как отдавал. Он и свой коктебельский дом... такой его по духовному праву, кровный, внутренне свой, как бы с ним сорождённый, похожий на него больше, чем его гипсовый слепок, – не ощущал своим, физически своим... Зато море, степь, горы – три коктебельские стихии и собирательную четвёртую – пространство, он ощущал так своими, как никакой кламарский рантье свой «павильон»...*

**М. Цветаева. Живое о живом**

В марте 1921 года на очередном партийном съезде было принято решение о переходе к

нэпу. Конечно, перемены стали заметны не сразу. Но уже на следующий год лик земли русской изменился до неузнаваемости. «Как феникс из-под пепла, вышла... и воскресла в полгода московская торговля... Целые севрюги, осетры. Сухие снетки и лещи. Свинина, баранина, жирная говядина... На десятичных весах горою навалены телячьи туши, ещё целые, в шубах... Жизнь чередуется волнами. Три года войны, четыре – революции, хаос разрушения, кровавые духовные цветы. И вот возродилась плоть!» – писал, не ведая развязки этой сатирической драмы, известный учёный, языковед и фольклорист В. Г. Богораз-Тан.

Воскресла не только частная торговля, но и (в очень ограниченном объёме) частная промышленность. Определённые изменения происходили и в издательском деле. Возникло «частное предприятие» И. Лежнева (псевдоним И. Г. Альтшулера) – журнал «Новая Россия» (позднее – просто «Россия»), в котором печатались В. Брюсов, Б. Пастернак, Вл. Ходасевич, О. Мандельштам, К. Чуковский, Е. Замятин, М. Шагинян и другие.

В Крыму таких головокружительных переворотов не происходило и вряд ли кто-то мог «насытить свои голодные глаза обилием пищи», подобно упомянутому фольклористу. Здесь по-прежнему жилось голодно, известны были даже случаи людоедства. И всё же что-то менялось. Становилось легче дышать. Ревкомы заменялись выборными Советами. Обсуждались не самые «парадные» стороны жизни. На слуху были не самые «революционные» имена. Местные «страдатели пера» изредка вспоминали и о Волошине как о крупном явлении русской литературы. Г. Томилин в статье «О книгах и писателях» (1921) сравнил волошинские произведения «Стенькин суд», «Дикое поле» и «Гражданская война» с блоковской поэмой «Двенадцать»: «Они художественно, сжато, ярко и выпукло отражают наше время, правда, иногда и с его теневыми сторонами».

За два месяца до этой статьи имя Волошина упоминает в журнале «Коммунистический интернационал» А. В. Луначарский. Не соглашаясь с волошинской оценкой революции, красный эстет и теоретик искусства всё же находит в стихах поэта «возможность весьма близкого подхода... к восприятию коммунистического евангелия». Луначарский зовёт Волошина в Москву, поскольку его присутствие там «необходимо для совещания по целому ряду специальных вопросов». Наверное, и хорошо было бы проехать до Белокаменной – развеяться, только вот здоровье не позволяет (прежние боли в спине и ногах, серьёзные неполадки с желудком). И отношение к его поэзии здесь, в Крыму, мягко говоря, неоднозначно. Смелые «вылазки», наподобие томилинской, пока что одиночны. То же «Дикое поле» признаётся неистовыми ревнителями «коммунистического евангелия» контрреволюционным, не говоря уже о стихотворениях из цикла «Личины»... Среди тех немногих литературоведов, кто открыто поддерживает творчество Волошина, профессор В. Л. Львов-Рогачевский.

Э. Миндлин вспоминает, как однажды в Москве на Тверском бульваре натолкнулся на Львова-Рогачевского, который тут же начал расспрашивать его, как там, в Крыму, Волошин. «Я ответил, что привёз от Волошина письмо к Луначарскому и иду сейчас в Наркомат просвещения, чтобы попытаться лично наркому передать это письмо... Мы с ним зашли в книжную лавку писателей на Большой Никитской, и там у прилавка он написал Луначарскому несколько добрых слов обо мне и просил помочь человеку, не имеющему в Москве жилища.

Луначарского я встретил у дверей зала заседаний Наркомпроса на Остоженке. Только что окончилось заседание коллегии. Толпа, дожидавшаяся наркома, сразу же окружила его и оттеснила меня. Я в отчаянии закричал через десятки голов:

– Анатолий Васильевич! Анатолий Васильевич! Вам письмо от Максимилиана Волошина!

Луначарский тотчас повернул голову в мою сторону и потянулся за письмом, которое я протягивал. Толпа расступилась, и меня пропустили к нему.

– Волошин? Максимилиан Александрович? – спросил он, беря письмо. – Что же он не едет сюда? Мы его очень ждём. Я два раза писал ему. Он очень, очень нам нужен здесь, в Москве!

Я не был уполномочен объяснять, почему он не едет в Москву. Возможно, он сам объяснял Луначарскому в своём письме... Стихи Волошина, которые он дал мне в Москву, я отнёс в „Красную новь“ Воронскому... Вскоре встречаю Сергея Клычкова – он был тогда секретарём редакции „Красной нови“.

– Что же вы не приходите за гонораром Волошина? Стихи идут в ближайшем номере, гонорар уже выписан.

– Но ведь я оставил для перевода гонорара адрес: Феодосия, Коктебель, дача Волошина. Вышлите ему почтой.

– С ума вы сошли. Пока деньги дойдут до него, он на них и одной коробки спичек не купит. Курс падает по часам. Получайте деньги, купите на чёрной бирже червонцы и тогда перешлите ему с кем-нибудь».

Надо ли говорить, что поэт Эмилий Миндлин поставленной перед ним задачи не выполнил. Литераторово ли это дело? «Какие-то типы шмыгали взад и вперёд. Иногда останавливали пешеходов, перешёптывались с ними о чём-то, уходили в подъезды ГУМа и там обдывали свои делишки. Моя старенькая куртка облезлым мехом наружу, видимо, не свидетельствовала о моей способности приобрести червонцы... Чтобы спасти хоть часть денег Волошина, я снова бросился на Ильинку – известное тогда всей Москве местонахождение чёрной биржи. И опять – такие же, как вчера, шмыгающие типы. И опять у меня нехватка решимости первым заговорить с ними, а у них явное пренебрежение к моей куртке лысым мехом наружу.

Миллионы Волошина, которыми были набиты мои карманы, обесценивались с каждым часом. Реальная стоимость их всё стремительней приближалась к стоимости коробки спичек. В последний момент я решил приобрести на них хоть что-нибудь не падающее в цене и приобрёл... в каком-то нэповском магазине четыре банки сгущённого молока! Затем я написал Волошину обо всём происшедшем и спрашивал, как мне быть, чтобы не чувствовать себя невольным растратчиком его литературного гонорара. Он быстро ответил очень милым, полным утешительных слов письмом. Мол, он хорошо всё понимает и советует мне больше не думать о деньгах. Он всё равно не смог бы их получить и реализовать при существующем положении... Но о приезде в Москву – ни слова». (К этому следует добавить, что Волошин не давал права Миндлину отдавать свои стихи в печать; вот распространять их в рукописи – другое дело.)

А в Москве Софья Парнок устраивает литературный вечер, посвящённый писателям Крыма. Да, не вымерла ещё душа в России: организаторам удаётся выручить с этого мероприятия четырнадцать миллионов рублей, пять из которых направляются Волошину, курирующему крымскую литературную диаспору; кое-что из его стихов Вересаеву удаётся пристроить в сборник Госиздата и получить гонорар в размере четырёх миллионов. Волошин сталкивается с новыми для него коммерческими проблемами: свалившиеся на него миллионы необходимо срочно менять на продукты – муку, сахар, кофе... При катастрофическом падении рубля надо как-то быстро-быстро поменять деньги на золото (поэтово ли это дело?!), чтобы перевести его в предметы первой необходимости. Потом, делёж этих предметов – не самое приятное занятие, «...оказываешь реальную услугу десятку людей, а этим наживаешь себе сотню злейших врагов, которые считают себя вправе на такую же услугу, требуют её, сплетничают и т. д.», – писал Волошин матери. Как жаль, что не суждено будет поэту прочесть мудрую пьесу-притчу Б. Брехта «Добрый человек из Сезуана» – такую бы теоретическую базу приобрёл для своего неутолённого и безблагодарного альтруизма... А тут ещё болезнь...

Да и работать как-то надо: не так давно созрел замысел книги «Путиами Каина», и кое-что уже написано. Тому же Вересаеву удаётся пристроить в Москве три поэмы из этой книги (а заодно и монографию Волошина о Сурикове) и даже получить за всё это «сказочный» гонорар – девяносто три миллиона рублей. Увы, посредник, везущий в Феодосию эту сумму, был вчистую ограблен на рынке в Харькове. А ведь при нём были деньги и для других нуждающихся крымчан. С потерей своих кровных Макс ещё мог

смириться; но оставить в беде своих земляков было никак невозможно – душа не позволяла. Уже в который раз ему выпадало «парализовать чужую неудачу»... Но, «обыгрывая чужую судьбу», поэт нередко ставил под удар свою. Продвигая на Комкурсы своих хороших и не вполне хороших знакомых, сам Волошин, как помним, на этом «пайковом» месте не удержался. Получив выгодное предложение от Внешторга быть экспертом по скупке художественных ценностей, Макс настоял на привлечении к этой работе Богаевского. В итоге – остался Богаевский, а Волошин вновь оказался «за бортом».

Да, трудно и невыгодно быть альтруистом. Друзья обращались с поэтом весьма бесцеремонно: врывались в любое время, загружали своими проблемами, просили, требовали. Приходилось бегать «по учреждениям хлопотать о похоронах, муке, расстрелянных, больных, умирающих от голода» (из письма к матери от 25 апреля 1922 года)... И всё это в ущерб работе, не говоря уже о сильно пошатнувшемся здоровье. Обострился артрит, замучили мигрени. В феодосийском санатории практически не было лекарств. О грязевых ваннах приходилось только мечтать... А Вересаев зовёт в Москву. Там – сытно, там – можно опубликоваться и заработать. Но уж нет. «Московскому благополучию» художник предпочитает «патетическое умирание» голодной смертью вместе с Крымом.

А между тем в Москве не так уж всё и благополучно. Политика нэпа показывает свою изнанку. Все послабления тщательно регулируются. Идеологический меч по-прежнему занесён над головами инакомыслящих. И первой под удар попадает Церковь. Прав был Волошин: репрессии в этой области не заставят себя долго ждать. В секретной инструкции от 19 марта 1922 года Ленин предписывает провести «с максимальной быстротой и беспощадностью подавление реакционного духовенства». 26 апреля в Москве начинается так называемый «процесс 54-х». Патриарха Тихона вызывают, пока что в качестве свидетеля... «Процесс» завершается 8 мая одиннадцатью смертными приговорами. Сам Тихон уже на другой день был взят под домашний арест, а 16 мая – заключён в тюрьму. Вот вам и – «Вся власть патриарху!» Теперь уже новая, сама себя учредившая власть запускает свой убойный механизм: 13 августа был расстрелян митрополит Петроградский Вениамин; взяли и за католическое духовенство...

Расправляясь с Церковью, большевики не забывали и о своих недавних оппонентах в политике. Летом 1922 года вершится суд над тридцатью двумя эсерами. Двенадцать из них приговариваются к расстрелу, и только заступничество Горького (к протесту которого присоединились А. Франс, А. Барбюс, Р. Роллан) на некоторое время продлило жизнь этим «заложникам» революции. Естественно, до Крыма эти мутные волны истории докатываются глухим, нечленораздельным рокотом. Здесь многое видится по-другому. Крым отягощён собственными проблемами...

Но не только бедами полна жизнь. Весной 1922 года Волошин возобновляет знакомство с Марией Степановной Заболоцкой, которую впервые увидел за три года до этого. Новая встреча произошла случайно, на улице, и, как нередко случалось в те дни, была сопряжена с печальными обстоятельствами. Маруся не могла скрыть слёз: убили её любимую собаку – всякая животина воспринималась тогда как потенциальная пища... Макс конечно же как мог старался утешить женщину... Эта грустная встреча имела счастливое продолжение: Мария Степановна станет второй женой Максимилиана Александровича, ангелом-хранителем – не только его самого, но и Дома Поэта. Прошедшая суровую школу жизни, она органично впишется в устоявшийся быт коктебельского пристанища, взяв на себя все заботы о нём. Будучи фельдшерницей, Мария Степановна будет ухаживать за больной матерью поэта, бросив ради этого службу. После смерти Елены Оттобальдовны (кстати, завещавшей сыну «не оставлять Марусю») в январе 1923 года она останется в доме хозяйкой. Официально свой брак Волошины зафиксируют лишь 9 марта 1927 года. Проводив в последний путь своего Макса (или как она называла его – Масеньку), Мария Степановна сделает всё возможное, чтобы сохранить его творческое наследие, сам Дом, которому (во многом благодаря ей) суждено будет стать Домом-музеем. Однако обо всём – по порядку. Да

и биография этой замечательной женщины заслуживает отдельного рассказа...

Отец Маруси был польских кровей, мать – из семьи старообрядцев. Её раннее детство было светлым и радостным. «Папа мой был ласковый и меня очень любил и баловал, – вспоминает Мария Степановна. – ...Папа... был слесарь и работал старшим мастером на фабрике Невской мануфактуры. Всё моё детство проходило в районе Обводного канала». Были поездки к бабушке и дедушке в уездный городок Режицу (ныне – Резекне), а там – речка, грибы, ягоды, прогулки с отцом, разнообразные детские приключения... Увы, вскоре отца не стало. Подступила настоящая нищета. Маруся и её старший брат Стёпа остались на руках у матери, которой было всего двадцать семь лет. «Характера она была тихого, даже скорее робкого; доброты и ласковости и услужливости необыкновенной... Она была, верно, очень музыкальна, много пела, но была полуграмотная. Хорошо читала и знала церковно-славянский язык и не знала почти по-граждански, потому что это считалось грехом... Страдала она ого всего нестерпимо. Мы это с братом очень хорошо знали и жалели маму до отчаяния. И брат, не желая всё это видеть, убежал из дома». В жизни 9-летней девочки наступает самый тяжёлый период: скитания по чужим углам, голод, болезнь матери. Она даже пытается покончить с собой, выпив сулемы.

Однако это роковое событие оказывается поворотным в судьбе Маруси. Случившееся с ней потрясло многих. В одной из газет появилась даже заметка, посвящённая «детской драме». «Пол-Питера, кажется, перебивало около моей постели в больнице, и моя судьба решилась и совершенно изменилась, – вспоминает Мария Степановна. – Моей маме было сделано очень много предложений: взять меня на воспитание, в дочки и т. д...И выбрала она предложение двух сестёр (Лебедевых. – С. П.)... Они подготовят меня в гимназию, а на содержание будут давать деньги семьи Поповых и Ярошенко. Последними маме была назначена пенсия в 5 рублей в месяц». На этот раз судьба показала девочке свой светлый лик, а ведь всё могло обернуться гораздо хуже...

Итак, Машу берут на воспитание в семью генерала Ярошенко, и начинается новая жизнь. Она учится в лучшей, Стоюнинской, гимназии Петербурга (с ней в классе – три княжны) и делает успехи. При этом никто не относится к ней как к девке-чернавке, существу низшего сорта. А главное – в её жизни появляется много интересных людей: круг общения генерала Ярошенко, брата видного художника, а также издательницы О. Н. Поповой, которая часто брала Машу к себе, возила на дачу, был весьма широк. Арифметике и грамматике девочку учил известный критик Н. К. Михайловский; Маруся посещала лучшие спектакли; ей приходилось общаться с А. П. Чеховым и К. С. Станиславским, О. Л. Книппер и В. Ф. Комиссаржевской, И. В. Цветаевым и молодым Б. В. Савинковым, который изображал из себя вегетарианца; Маше запомнилось, что, входя в столовую, он демонстративно подавал всем лакеям руку.

Максим Горький как-то раз огорошил её, 14-летнюю девочку, заявлением, что Иисус Христос вовсе не воскресал:

- Ты такая большая девица – и веришь этим сказкам, что Христос воскрес?
- Ну да, воскрес, а как же иначе?
- Почитай Ренана и подумай, всё это сказки.
- И батюшка говорит... и как же не воскрес?

Все засмеялись. У Маши под ногами зашатался пол, все лица воспринимались не в фокусе.

- Оставьте ребёнка, она страдает...

Эта реплика Чехова положила конец мучениям, и всё-таки на какое-то время девочке показалось, что «весь мир потух». Уютный и добрый Чехов вскоре сделался родным и любимым, а сиплый, кашляющий, в нелепых длинных сапогах, Горький – чужим и неприятным...

Потом, конечно, будут и не такие потрясения, да и время наступит куда более драматическое. Маруся будет посещать в Петербурге Бестужевские курсы, слушать в Психоневрологическом институте лекции И. П. Павлова (который «не был учителем в

ортодоксальном смысле. Он интересовался людьми, с которыми работал, их судьбами... он был несомненно верующим... это было видно по его отношению к людям, животным, собакам»), учиться на родовспомогательном отделении Повивального института, но высшего медицинского образования не получит: начнётся мировая война, потом Гражданская. Теоретическую подготовку заменит практика. И всё же Мария Степановна войдёт в мирную жизнь весьма эрудированным человеком, что позволит ей вести большую работу по ликвидации безграмотности в Крыму и даже получить соответствующую грамоту. Маруся будет служить в амбулатории в селении Дальние Камыши, потом её переведут в Феодосию, где и произойдёт её судьбоносная встреча с Волошиным, на одной из лекций которого она незадолго до этого присутствовала («сидела и плакала»). Она будет навещать его феодосийское жильё, а затем настанет очередь Коктебеля. «Меня вызвали в Симферополь работать по медицинской части, но я вышла замуж за М. А. Волошина и мне интереснее было дома, с ним. Мне выпала интересная жизнь, среди интересных людей. Я была счастливым человеком, была рада тем верхушкам, которые волею судьбы видела в жизни», – подведёт итоги Мария Степановна.

Макс так охарактеризует свою новую подругу в письме к М. В. Сабашниковой от 24 февраля 1923 года: «Хронологически ей 34 года, духовно 14. Лицом похожа на деревенского мальчишку этого же возраста (но иногда и на пожилую акушерку или салопницу). Не пишет стихов и не имеет талантов. Добра и вспыльчива. Очень хорошая хозяйка, если не считать того, что может все запасы и припасы подарить первому встречному. Способна на улице ввязываться в драку с мальчишками и выступать против разъярённых казаков и солдат единолично. Ей перерубали кости, судили в Народных трибуналах, она тонула, умирала от всех тифов... Глубоко по-православному религиозна... Её любовь для меня величайшее счастье и радость». Из письма Вере Эфрон от 24 мая 1923 года: «Юродивая. Исступлённая. Самозабвенная. Всегда пламенно протестующая... Берётся за всё непосильное и не отступает, несмотря на слабость и нервность. Совершенно не умеет угадывать шутки и иронии. Раздаёт и деньги, и вещи, и себя на все стороны. В гимназии была первой ученицей, а теперь почти безграмотна. Была дружна с самыми неожиданными и неподходящими людьми – начиная с Веры Ф. Комиссаржевской, кончая Иваном Влад. Цветаевым. С Пра она глубоко и страстно подружилась». Надо же... Вот этот талант – дорогого стоит!..

Однако вернёмся немного назад. Феодосийский период культурно-подвижнической жизни Макса подходит к концу. Он рвётся в Коктебель, где есть возможность отгородиться в какой-то мере от хлопот и просителей, заняться творчеством. Наконец, 5 июня 1922 года перед ним снова «каменная грива» родных мест; порог его мастерской-церкви... Да, так уж получилось, что

...в эти дни доносов и тревог  
Счастливый жребий дом мой не оставил:  
Ни власть не отняла, ни враг не сжёт,  
Не предал друг, грабитель не ограбил.  
Утихла буря. Догорел пожар.  
Я принял жизнь и этот дом как дар  
Нечаянный – мне вверенный судьбою,  
Как знак, что я усыновлён землёю.

(«Дом Поэта»)

Он пишет акварели, работает над книгой-глыбой «Путями Каина», которую сдвинуть с места невероятно трудно. Каждое воскресенье в доме появляется М. С. Заболоцкая. Каковы были её первые впечатления от дома? Мы не знаем. Мария Степановна запечатлела в своих записях то, что уже отстоялось в её памяти: «Дом поставлен как бы в середине береговой дуги бухты... Макс всегда искал и отмечал соответствие архитектурных форм формам местности. И отсюда связанность с пейзажем в линиях дома. Многогранность и

многоплановость прилегающих гор, сложный ритм складок и резкие контуры обрывов переключаются с многоплановостью и пересечённостью этажей, крыш, балконов, лестниц, многообразно и гармонически слитых в одно целое – дом. Он является как бы первой ступенью-планом на берегу, второй план Тепсень... и венец всего... – гора Сюрюю-Кая. Картина, висящая в мастерской над „каютой“, подчёркивает гармонию дома с пейзажем. Дом как центр пейзажа.

Построенный продуманно, он защищён от северных ветров поворотом стен, двойными дверями и окнами, балконы его обращены на юг и север, так что во всякую погоду ими можно пользоваться. Размерами он не так велик, но очень вместителен и целесообразен как жильё». Столь же удобен он и внутри: «Всё самое простое: столы, стулья, но стены украшены акварелями, дверцы стенных шкафов – выжженными рисунками самого Макса. Ничего ненужного. Макс терпеть не мог ненужных вещей. Самодельные книжные полки, простые топчаны, покрытые кустарными тканями с лежащими на них подушками, табуретки и скамьи с выжженными рисунками, на полочках фотографии и много индивидуальных и художественных вещей и вещиц – подарки или находки Макса в природе». Главное – везде и во всём чувствуешь «хозяина, след его мысли и чувств».

Марию Степановну поразили сами комнаты, у каждой из них было своё лицо, в каждой – своя атмосфера, не противоречащая общему духу этого поэтического «корабля». И самое важное: «Из каждой комнаты видно море, а мастерскую, которая обращена на восток, через четыре больших и высоких окна буквально затопляет голубой ливень света. Взгляду не во что упереться: не видно берега, не видно ни одного предмета, только море сливается с небом и без края расстилается пространство. Свет и расплавленное море – основное настроение мастерской».

...А за окном расплавленное море  
Горит парчой в лазоревом просторе.  
Окрестные холмы выгорены  
Колочим солнцем. Серебро полыни  
На шиферных окалинах пустыни  
Торчит вихром косматой седины.  
Земля могил, молитв и медитаций –  
Она у дома вырастила мне  
Скупой посев айлантов и акаций  
В ограде тамарисков. В глубине  
За их листвой, разодранной ветрами,  
Скалистых гор зубчатый окоём  
Замкнул залив Алкеевым стихом,  
Ассиметрично-строгими строфами.

(«Дом Поэта»)

«Ассиметрично-строгие строфы», естественно, рождались в кабинете поэта. Именно там – средоточие мысли и вдохновения. Туда «надо подниматься из мастерской по внутренней лестнице. Кабинет расположен на западной стороне, напротив окон мастерской, и служит как бы продолжением её, только на хорах. В этой комбинации двух комнат в одной, но в разных плоскостях – большой вкус строителя.

В кабинете световые, цветовые и воздушные элементы иные, чем в мастерской. Свет приглушён. Тут два окна на большую комнату. И одно из них западное, расположенное горизонтально продолговатой полосой под самым потолком, даёт эффектный верхний свет, впуская продолговатую полосу солнца, которая падает на желто-оранжевую занавеску на стеклянной перегородке, отделяющей кабинет от мастерской. От этого кабинет наполнен золотистым солнечным отражённым светом, особенно в летние дни, когда солнце поворачивает к западу. На полках светло-жёлтые обложки книг, и всё вместе даёт

золотисто-жёлтый приглушённый солнечный свет. „Тяжёлая поступь закатного солнца“ и тишина. Тишина, молчание, тайна, благоговение – основное в кабинете...

Макс, чувствующий, как никто, ритм бытия, ритм каждого дня, должен был ритмично то раскрываться навстречу миру, то уходить в себя – закрываться.

Дом был оболочкой, формой жизни Макса, поэтому архитектура дома несла в себе тот же ритм сознания Макса. Дом помогал Максиму уходить от плена мира, от плена света и шума мастерской в золотую тишину кабинета...», чтобы

В уединенье выплавить свой дух  
И выстрадать великое познание.

(«Дом Поэта»)

«Выстраданное познание» воплощалось в стихи и поэмы, которые уже становились классикой. Как уже говорилось, имя Волошина к началу 1920-х годов было широко известно за границей, среди русской эмиграции. Его произведения публиковали парижские, берлинские, пражские, английские издания. Критики отмечали «мужественное» сочетание в них «любви и веры», наличие слова, которое «стало плотью», наконец, его особую историософскую концепцию путей России. Очевидно, Макс знал об отдельных высоких оценках своего творчества, и его самолюбию они льстили. Не жаждущий славы и не склонный к самовозвеличиванию, он всё же сообщает в одном из писем К. Кандаурову, что его «очень ценят: всюду перепечатают, цитируют, читают», «называют единственным национальным поэтом, оставшимся после смерти Блока». Разумеется, предлагают выехать за рубеж, но это невозможно по двум причинам: во-первых, стара и больна мать, а во-вторых... он уже высказался по этому поводу в стихотворении «На дне преисподней»:

Доконает голод или злоба,  
Но судьбы не избери иной:  
Умирать, так умирать с тобой,  
И с тобой, как Лазарь, встать из гроба!

В советской печати создаётся другой образ поэта, весьма противоречивый. Не замечать такое крупное явление литературы – нельзя, а трактовать его можно по-разному. Можно отметить в его стихах «вещий историзм», в словах – «огненную лепку мастера» (П. Константинов), можно, выждав какое-то время, заявить, подобно В. Вересаеву, что революция «ударила по его творчеству, как огниво по кремню, и из него посыпались яркие, великолепные искры»; но проще и безопаснее, не вдаваясь во всякие изыски, обозвать поэта мистиком, не желающим «знать и видеть движущих сил революции», или причислить к белогвардейцам, мечтающим о возвращении «мрачных времён средневековья, царизма, рабства и эксплуатации народа» (Н. Мещеряков). Бред? Но этот бред в конечном счёте перевесит все другие оценки его творчества и превратится в официальное резюме. Достаточно открыть второе издание Большой советской энциклопедии (1951; т. 9, с. 42) и прочитать, кто такой Волошин: «...Представитель упадочнической поэзии символизма... Поэзия В. космополитична по своей сущности. Русский народ В. знал плохо... не понял Великую Октябрьскую социалистическую революцию». В 1950–1970-х годах сожалели о том, что Волошин так и не смог просветиться идеологически (К. Зелинский, В. Орлов и др.), упрекали в пресыщенности и холодной голой эстетности, в следовании реакционным славянофильским концепциям и духу рабского смирения... Отпечаток советской идеологической плиты заметен и в первой монографии о Волошине (Куприянов И. Судьба поэта. Киев, 1978).

В середине июля 1922 года поэт собирается, если можно так выразиться, в лечебно-лекционное турне по Крыму. Проще говоря, Волошину пришёл вызов в Саки на грязелечение; путь предстоял долгий, с остановками, где не избежать публичных

выступлений. Первое состоялось в Симферополе, в Клубе печатников. Поэт обрушил на головы красноармейцев и матросов, слушателей рабфака и партшколы свои гневно-обличительные стихи: «Матрос», «Красногвардеец», «Термидор», «Магия», «Огонь» и «Кулак». После выступления пришедшие в себя партийцы и красногвардейцы учинили автору «в порядке дискуссии» форменный допрос: как он понимает революцию, с кем он, за кого? Волошин отвечал в своей манере: да, он за революцию, но – за революцию духа; побеждать надо не кого-то, а самого себя, преодолевая свою ограниченность; он не за тех и не за других, он – за Человека...

На что рассчитывал поэт, уже не раз «обжигавшийся на молоке»?.. Газета «Красный Крым» тут же откликнулась статьёй «Реакционная философия», в которой волошинское выступление оценивалось как стряпня «с довольно острым белым перцем», то есть подобная той, которую производит белоэмигрантская пресса. Тут бы успокоиться и заняться лечением... Но уже из санатория донкихотствующий поэт выезжает в близлежащую Евпаторию и вновь «дразнит гусей» стихами о России, смущает рабочих и крестьян «Путями Каина». На беду здесь оказался военный цензор Особого, очень Особого отдела... В воздухе запахло арестом, избежать которого удалось только чудом.

А что же грязелечение? Ничего, кроме новых приступов боли, оно не дало. Но Макс не унывает: не помогло здесь – поможет в другом месте, например, в севастопольском Институте физических методов лечения под руководством профессора Щербака. И там, похоже, взялись за него всерьёз: одна процедура за другой – гальванизация, диатермия, массаж, механотерапия, гидротация, ванны такие, ванны сякие... Врачи к поэту – со всем вниманием, он к ним – со всеми стихами. Поладили. В результате болезнь пошла на уступки. Художник распрямился, настроение стало бодрее, проснулся юмор. Он заметил, что на всём больничном белье – постельном и столовом – стоит штамп: «венерическое» (чтобы подумали, прежде чем домой тащить), еду подают в старых, но чистых плевательницах – не хрусталь, конечно, зато изящно и стерильно. Из всех процедур ему больше всего запомнилось «вытапливание сала». Как рассказывал позже поэт своей двоюродной племяннице Тамаре Шмелёвой, его по самые плечи сажали в американскую термальную камеру, и там он потел. Однако вскоре эта камера, не выдержав его русского веса («семь пудов мужской красоты»), испортилась, так что «вытапливание сала» пришлось прекратить. В дальнейшем американским термальным камерам поэт будет предпочитать коктебельские солнечные ванны на вышке своего дома.

Впрочем, до летних солнечных ванн ещё далеко. На дворе – осень 1922 года. В Коктебеле Волошина ждут две женщины: Елена Оттобальдовна и Мария Степановна, которая окончательно перебралась в Дом Поэта и ухаживает за матерью художника. Казалось бы, ситуация близка к идиллии, но не всё так просто и гладко. Характер Елены Оттобальдовны даёт о себе знать, несмотря на явную симпатию, которую она питает к Марусе. Есть и ещё один нюанс, осложняющий настоящее и будущее этих людей. В жизни Макса, незадолго до Маруси, появилась художница Евгения Николаевна Ребикова, ученица Волошина, страстно его полюбившая. Всё в мире повторяется. Макс уже пережил душевное раздвоение: Маргарита и Вайолет. Теперь вот – Мария и Евгения.

Евгения Николаевна была племянницей уже упоминавшегося на страницах книги композитора В. И. Ребикова. Дед художницы происходил из старинного дворянского рода. В летописях упоминается некий Ребек-хан, татарин, который при Иване Грозном переселился из Казани в Васильсурск, принял православие и женился на русской. Тогда-то и возник род Ребиковых. Бабушка происходила из казачества и, судя по всему, личностью была незаурядной: блестяще закончила Харьковский институт благородных девиц, проявляла большие способности к музыке, владела многими языками. Сохранился её литографический портрет с фотографии, выполненный внучкой. Дети и внуки Ребиковых обладали художественной жилкой.

Евгения Николаевна получила в детстве прекрасное музыкальное и художественное образование. Известны сделанные ёю портреты художника Н. Н. Вышеславцева,

Е. Е. Горбуновой-Посадовой, сохранились интересные автопортреты самой художницы. Весной 1912 года её отец (очевидно, чиновник высокого разряда) вместе с семьёй переезжает из Варшавы в Феодосию. По-видимому, к этому времени относится знакомство Евгении с Максом (который был на короткой ноге с её дядей, композитором). В человеческом, да и в творческом плане Ребикова была очень близка Волошину: бескорыстная и безытная, готовая всё отдать ближнему, она была поразительно добра и душевно чиста. Отказывалась от гонораров за свои работы, опасаясь, что деньги невольно вынудят её «польститься» в портрете заказчику. Её имя часто упоминается в переписке членов семьи Герцык-Жуковских. В своей последней записке к родным из судакской больницы Аделаида Герцык упоминает художницу: «Женя ангельски добра». Известно, что Ребикова ухаживала за умирающей поэтессой, взяла на себя ведение хозяйства, а после смерти Аделаиды написала её портрет.

Дружба Волошина с Ребиковой продолжалась до конца жизни поэта. В своём письме к М. С. Заболоцкой Макс проявляет искреннюю озабоченность судьбой молодой художницы: «Маруся, милая, только одно: мы не должны предать Женю. Она трудная и слишком ещё не пережившая жизни. Хотела учиться у меня, хотела со мной переступить грань человеческого опыта». Макс есть Макс: он готов даже удочерить (в письме буквально – «усыновить») Женю, лишь бы «покрыть» любовью причиняемый ей «ущерб». Но у женщин своя психология. Марусе чужд этот альтруизм; делиться Максом она ни с кем не хочет, да и что она будет делать с этой дамой: «Женю принять не могу... Пусть Женя будет с тобою, мне ничего не надо! Я всегда, всегда буду одинока...» Ну а Макс настойчиво пытается привить подруге свою систему мировосприятия: «Маруся, нельзя меня ревновать. Нужно со мною любить всех, кого я люблю. А мне надо столько любить: всю Россию, каждого человека в ней... Мне надо быть... со всеми, кто окликнет меня». Всё вроде бы просто, но как обычной женщине это принять? Кто знает, как могла сложиться личная жизнь поэта при других раскладах?.. Евгения Ребикова имела все основания стать женой Макса Волошина. Но не будем забывать, что очень многое в этом доме зависело от капризов и пристрастий Елены Оттобальдовны, а её выбор, как мы знаем, был определён сделан в пользу Маруси Заболоцкой. В августе 1930 года Евгения Ребикова напишет Юлии Оболенской: «Хожу иногда с Максом на прогулки. Макс ежедневно после захода солнца совершает свои традиционные прогулки. Тогда мы разговариваем, но это совсем, совсем не те разговоры, что были раньше...» Мы уже никогда не узнаем, о чём беседовали, на что надеялись Макс и Женя тогда, в начале 1920-х...

А в конце осени 1922 года Волошин уже убеждён в одном: «Я знаю, что связан с тобою глубоко и на всю жизнь, – пишет он М. С. Заболоцкой, – что люблю тебя настоящей глубокой человеческой любовью и уважением... В человеке любовь – сознательна, разумна, свободна, действительна, но влюблённость (или страсть) бессознательна, темна, приходит неизвестно откуда, уходит неожиданно и без предупреждения...» Обо всех видах взаимоотношений мужчины и женщины (любовь, страсть, похоть) Макс говорил и раньше. Теперь же свои теоретические постулаты с приложением объяснения в любви он направляет новой адресатке, с которой окончательно связывает свою судьбу.

23 ноября Волошин покидает Севастополь, навещает Ялту, 14 декабря присутствует на открытии картинной галереи Айвазовского в Феодосии. Но надо спешить в Коктебель: состояние здоровья Елены Оттобальдовны становится критическим. Вновь обострение эмфиземы лёгких, на которую наложилась простуда, очередная депрессия. Пра отказывалась есть, слабела, доводила до приступов отчаяния Марусю. 6 января 1923 года отметили Сочельник. Елена Оттобальдовна уже не вставала. Макс не отходил от матери всю ночь. Днём 8 января её не стало... «В гробу она лежала похудевшая, с молодым лицом, стремительным и решительным лбом, – писал Волошин Оболенской. – Рот сложился в ироническую, торжествующую усмешку... По горам бродили зимние туманы, а по коктебельскому заливу – пятна жидкого солнца. Во время погребения низко, над самой могилой, чертил круги орёл»...

Итак, в жизни Волошина наступает новый период. Теперь он свободен, вправе

распоряжаться временем и пространством по своему усмотрению. В быту у него надёжная опора – энергичная Мария Степановна. 12 марта она делится своими впечатлениями от жизни в Коктебеле со своими харьковскими друзьями: «Веду хозяйство и смотрю за Максом... Макс страшно непрактичный, совсем как ребёнок... Прислуги нет, я всё делаю сама – и воду таскаю, и стираю, и печи топлю...» При этом: «Внутри у меня большая гармония и покой». Быть подмогой для мужа, поэта и художника, создавать для него творческую обстановку, для его гостей – необходимые удобства, размещать по комнатам, обеспечивать едой... Приходится только удивляться, как хватало на всё сил у этой маленькой хрупкой женщины с внешностью «деревенского подпaska». А ведь к ней ещё как к единственному медику шли жители из деревни – приходилось принимать роды, оказывать первую помощь, давать лекарства. И Мария Степановна всё успевала, но на первом плане остались заботы о своём муже, которого она чуть ли не боготворила.

Волошин старался отвечать ей тем же. «Когда мы объединились, – вспоминает Мария Степановна, – Макс мне очень серьёзно сказал: „Марусенька, у меня к тебе большая просьба, исполни её – и мы будем счастливы. Я больше всего боюсь в браке ‘чудовища о двух спинах’. Так страшно, когда брачующиеся смотрят только друг на друга. Я очень прошу тебя: будем повернуты лицами к людям и мы будем счастливы“. А меня Макс любил очень. И как он был всегда благодарен, когда чувствовал, что моё лицо обращено к людям». Марию Степановну никак нельзя было назвать красавицей. Но для умудрённого опытом, настрадавшегося в жизни поэта это обстоятельство уже не имело значения. Как-то он сказал Вересаеву: «Женская красота есть кожная болезнь. Идеальную красавицу способен полюбить только писарь». В Марусе зрелый Волошин ценил совсем другие качества, которые опоэтизировал:

Весь жемчужный окоём  
Облаков, воды и света  
Ясновиденьем поэта  
Я прочёл в лице твоём.  
Всё земное – отраженье,  
Отсвет веры, блеск мечты...  
Лица милого черты –  
Всех миров преображенье.

Между тем пространство мира, «человеческого духа», по-прежнему побуждало к движению. В январе 1923 года у Макса возникает соблазн побывать в Берлине. Бывший командарм, а ныне полпред РСФСР в Бухаре И. С. Кожевников, направляясь в Москву, посещает Волошина в Коктебеле. Он предлагает поэту устроить для него выезд через Наркоминдел, снабдив всеми необходимыми документами. В Германии можно пожить пару месяцев, поработать, пообщаться со старыми знакомыми. Ведь Берлин в 1920-е годы становится чуть ли не литературной столицей России. Там можно будет погреться в лучах собственной славы, выступить с любыми лекциями и стихотворениями, не думая о том, что скажет по этому поводу «особый» цензор с двумя извилинами под козырьком. А на кого оставить дом?.. На Марусю? Но как же ехать без неё – ведь они уже единое целое. Да и пустят ли его потом обратно?.. По личному указу Ленина уже началось выдворение из Советской России инакомыслящей интеллигенции. В 1922-м целый «философский пароход» – более тридцати писателей, философов, богословов, профессоров сплавили за рубеж. А Макс не мыслит себя вне России. Да и работать он привык здесь, у себя в кабинете – надо заканчивать книгу «Путями Каина». И Волошин отказывается от этого выгодного предложения, отчётливо понимая, что больше такой возможности уже не будет. С новой энергией он занимается издательскими делами – надо выпустить в полном объёме «Лики творчества», расширить «Киммерийские сумерки» («Киммерию»), издать переводы из Ренье, Клоделя, Вилье де Лиль-Адана... Он мечтает подержать в руках книгу «Неопалимая

Купина», куда вошли бы все стихи о войне и революции, но понимает, что в условиях Советской России это издание никогда не преодолеет цензурные барьеры, несмотря даже на помощь В. Вересаева, С. Парнок, а возможно, и А. Луначарского... Так, может быть, стоило всё-таки поехать?.. Нет, решение принято, а стихи... стихи теперь будут «списываться тайно и украдкой».

Надо сказать, что и в советской печати наряду с поверхностно-презрительными рецензиями ангарских и лелевичей начинают появляться глубокие, объективные отзывы о его поэзии. Высоко оценивает творчество Волошина В. Львов-Рогачевский в книге «Новейшая русская литература». Поэт, считает критик, «разглядел новый трагический лик России, органически спаянный с древним историческим ликом её». Ряд авторов, говоря о Волошине, не решаются открыть свою фамилию, скрываясь под псевдонимом или аббревиатурой. Так некий «О. Осв.» в журнале «Всемирная иллюстрация» отмечает редкое совпадение поэтической и человеческой судьбы Волошина, называет его зачинателем «известной литературной колонии» в Коктебеле и «исключительным знатоком истории искусств, блестящим исследователем живописи», а в его стихах видит уникальное, ни с кем не сопоставимое «отражение революционной стихии».

Между тем наступило лето; «известная литературная колония» вновь стала заполняться гостями. Приезжают харьковские друзья М. С. Заболоцкой Домрачёвы, родственники Волошина Шмелёвы, дипломат И. М. Майский, актрисы Ф. И. Бунимович и И. В. Карнаухова, С. А. Толстая. Побывали здесь К. И. Чуковский и Е. И. Замятин, поэтесса М. М. Шкапская с сыновьями. Свои впечатления от этого лета записала Тамара Владимировна Шмелёва. Познакомившись с М. С. Заболоцкой, она была несколько смущена её «раскованностью»: «Маленькая, энергичная, но, как видно, очень нервная, Мария Степановна озадачила нас своей необычной манерой обращения, и мы даже почувствовали какой-то страх перед ней... Меня поместили вместе с Марусей в маленькой комнате с фамильными фотографиями. В соседней большой зимой жил Макс. На лето он переходил к себе в верхнюю мастерскую (кабинет. – С. П.), которую по его просьбе я ежедневно убирала. Простой стол на козлах, покрытый красным сукном, и на нём несколько ящичков с карточками и карандашами. В глиняном горшочке всегда сухие розы. Макс просил ничего на письменном столе не переставлять. Он вообще был очень аккуратен...

Кроме Макса и Маруси в доме жил старый политкаторжанин-шлессельбуржец, зоолог Иосиф Викторович Зелинский. Он помещался в столовой на диване. Макс привёз его из Феодосии, где он был совсем одинок... Около его дивана всегда собирались компании слушающих его интересные рассказы... В это лето 1923 года наша основная семья питалась наверху, в столовой. Остальные живущие в доме ходили в ресторанчик грека Синопли... В общий котёл шёл паёк Макса и продукты, привезённые тётёй Сашей (Домрачёвой. – С. П.), запас которых систематически пополнялся посылками из Харькова. Мы с братом ничего не вносили и жили на „чужих хлебах“. Готовила тётя Саша, а иногда и Маруся. После обеда молодёжь шла на пляж мыть в морской воде посуду. Кастрюли тёрли песком и глиной-килом, которую брали в русле речки под мостиком. Сами мы мылись тоже этой глиной... За столом всегда происходили интересные разговоры. Иногда Макс читал только что полученные письма или отрывки из книг и журналов.

Первая половина дня проходила по строго установленному порядку. Сразу после утреннего чая Макс уходил на вышку лечиться солнцем. Потом спускался в верхнюю мастерскую работать. Входная дверь внизу закрывалась изнутри на ключ, а снаружи на ней висело объявление, что до двух часов вход в мастерскую закрыт. Я в это время делала балетные упражнения в нижней мастерской, где Таиах. Звук „гонга“ – удар палкой в подвешенную к дереву рельсу – возвещал приглашение к обеду. Макс спускался сверху и по пути в столовую проверял мой язык: если он был синий, то это значило, что я хорошо потрудились. Выпущенная на свободу, бежала перед обедом купаться.

После обеда, если не было походов в горы, Макс шёл в нижнюю мастерскую писать акварели. Это было его любимым отдыхом. Садился в кресло спиной к свету и, прикрепив на

большую доску куски ватмана, начинал готовить краски. В это время ему кто-нибудь читал вслух. В начале лета, когда было ещё мало людей, это делала я. Макс хотел ближе познакомиться с творчеством Микеланджело, которого очень любил... На очереди стояло знакомство с Леонардо да Винчи... Иногда после обеда мы всей дачей отправлялись до вечера на прогулку – на Кара-Даг, в бухту Енишары, в безлесные холмы к северу от Коктебеля, получившие название Ассиро-Вавилонии. Волошин, как патриарх, шагал с посохом впереди. Вечером, когда спадала жара, собирались на вышке – и, под крупными южными звёздами, под мерный шум моря, читали стихи».

Девушке запомнилось пребывание в Коктебеле К. И. Чуковского. Поначалу он показался ей необщительным. «Прихватив тетради и корзину с виноградом, Корней Иванович с раннего утра уходил в горы и возвращался только к вечеру». Но вот однажды решили собрать для кого-то из поэтов деньги на лечение. «Макс предложил устроить в ресторанчике Синопли платный вечер. В качестве артистов выступали волошинцы. Корней Иванович читал свои детские стихи-сказки, восседая на „сцене“ за столиком. Все дети как-то незаметно уползли от своих мам и окружили Корнея Ивановича. Его буквально облепили: на коленях, на плечах, за спиной, на столе и на полу у ног сидели очарованные слушатели, влюблённо глядя ему в рот. Кажется, и сам Корней Иванович не заметил своего окружения и машинально обнимал то одного, то другого наседавшего...»

К. И. Чуковский, в свою очередь, сохранил в памяти выступления хозяйки дома, которая часто и с удовольствием «выпевала» некоторые стихи мужа, положив их на собственные мелодии. Уже в октябре, вернувшись домой из Коктебеля, Корней Иванович записал в дневнике по поводу своего пребывания в доме Волошина: «Его жена Мария Степановна, фельдшерица, обожает его и считает гением. Она маленького роста, ходит в панталонах. Человек она незаурядный – с очень определёнными симпатиями и антипатиями, была курсисткой, в лице есть что-то русское крестьянское. Я в последние дни пребывания в Коктебеле полюбил её очень – особенно после того, как она спела мне „Зарю-заряницу“ (на стихи Ф. Сологуба. – С. П.). Она поёт стихи на свой лад, речитативом, заунывно, по-русски, как молитву, и выходит очень подлинно. Раз пять я просил её спеть мне это виртуозное стихотворение, которое я с детства люблю. Она отнеслась ко мне очень тепло, ухаживала за мною – просто, сердечно, по-матерински». Чуковский так и звал Марусю – «Заря-заряница», а она его – «Чукоша». Именно тогда Волошин сделал свою известную запись для рукописного альманаха Корнея Ивановича «Чукоккала».

Лето 1923 года было первым после того, как «Утихла буря, догорел пожар». Коктебель являл собой тогда не самое курортное зрелище. Многие дачи пустовали, где-то вместо крыш и окон зияли провалы. Об аптеке, почте, телефоне и говорить не приходилось. Однако уже появлялись кое-какие продукты, можно было худо-бедно сводить концы с концами. Воспользовавшись послевоенными настроениями, когда люди потянулись на отдых, многие дачевладельцы взвинтили цены на проживание до пятисот миллионов в месяц. Волошинская «колония» с её дармовыми комнатами была для них костю в горле. Возобновились атаки на буржуа, белогвардейца, мироеда, юродивого Волошина, противопоставившего себя власти и местным порядкам. Посыпались угрозы обыска, ареста. В сельсовете решили, видимо, известить его налогами. Поползли слухи о том, что все дачи национализуют, а потом будут давать в аренду бывшим владельцам... Да, социализм ещё не раз явит поэту государственную «рачительность», а военные кампании против Дома Поэта так никогда и не прекратятся.

Поэт вновь направляет прошения в различные инстанции, напоминает об Охранной грамоте ВЦИКа, защищающей его дом, о безвозмездной пользе, которую он приносит деятелям культуры и искусства. Ему удаётся и на этот раз отстоять свой духовный очаг. Председатель Старо-крымского райисполкома Г. Д. Стамов (вскоре он будет убит) вступает за поэта и уверяет его, что «местные органы Рабоче-Крестьянского Правительства не менее Центра умеют ценить дорогих для Республики граждан». Что ж, и вновь «счастливый жребий дом мой не оставил»... А Волошин остался вполне доволен тем

летом, проведённым со своими гостями в Доме Поэта (у него перебивало тогда не менее 120 человек).

Ко всему этому следовало бы добавить ещё одно впечатление, вызванное приятным событием. Как-то ещё по весне, пересекая вместе с лётчиком К. К. Арцеуловым (внуком Айвазовского, поклонником планеризма) хребет Узун-Сырт, Волошин стал свидетелем того, как листок бумаги, выпущенный из пальцев Арцеулова, плавно воспарил вверх. Примеру арцеуловской бумаги последовала волошинская шляпа. Воздушные потоки на этом широком плато оказались на редкость мощными. Так случайно было обнаружено место для проведения слёта планеристов, открытие которого состоялось уже 1 ноября...

В литературе же, по сравнению с воздушными потоками, дело обстояло значительно хуже. Было очевидно, что писателям вот-вот начнут перекрывать кислород. Правда, 1923 год оказался ещё щедрым на литературную продукцию. Вернувшийся на родину А. Н. Толстой в сборнике «Писатели об искусстве и о себе» (1924) сравнил период нэпа с «грибным летом»: «Школы, направления, кружки выскочили в грибном изобилии». Возобновили свою работу частные издательства. Например, столь актуальное для нас издательство братьев Сабашниковых, возникшее в 1891 году и прекратившее свою работу в 1918-м, возродилось в 1922-м. На книжной выставке в Москве, в мае 1923 года, оно представило 102 названия; другое частное издательство, «Колос», выставило 80 книг; издательство Мирманова – 50. Всего же 42 частных издательства представили здесь 1349 названий. А ведь были ещё кооперативные или акционерные издательства. Наиболее крупным из них было акционерное издательство «Земля и фабрика», созданное в 1922 году; оно выпускало оригинальную и переводную беллетристику, а также журналы. В августе 1922 года возникло кооперативное издательство «Круг», известное так же как «Издательство артели русских писателей». В его правление входили И. Бабель, А. Весёлый, Б. Пастернак, Б. Пильняк...

В 1923 году вышли поэтические сборники И. Анненского – «Посмертные стихи», Н. Асеева – «Избранное», Н. Гумилёва – «Посмертный сборник», В. Казина – «Рабочий май», О. Мандельштама – «Вторая книга», В. Маяковского – «Про это», П. Орешина – «Ржаное солнце». Как видим, авторы всё хорошие и разные. Проза была представлена такими произведениями, как «В тупике» В. Вересаева, «Мои университеты» М. Горького, «На куличках» Е. Замятина, «Петушихинский пролом» Л. Леонова, «Падение Дайра» А. Малышкина, «Русь» П. Романова, «Перегной» Л. Сейфуллиной, «Чапаев» Д. Фурманова, «Своя судьба» М. Шагинян, «Тринадцать трубок» И. Эренбурга и другие. Воистину это было время, когда, по словам М. Зощенко, «каждый свою хату в свой цвет красил».

Однако 7 марта 1923 года в «Правде» была напечатана статья Л. Сосновского, в которой тому же Зощенко досталось за это высказывание; было поставлено на вид «Серапионовым братьям» за их «аполитичность». А ещё раньше, 2 июня 1922 года, на первой странице «Правды» появилась статья «Диктатура, где твой хлыст?», направленная против книги Ю. Айхенвальда «Поэты и поэтессы» (автор книги спустя три месяца будет выдворен за границу на «философском пароходе»). Вошедший во вкус Сосновский 1 июня 1923 года в «Правде» обрушился на книгу В. Л. Львова-Рогачевского. Статья называлась «На идеологическом фронте». Идеологические штампы в ней заменили художественные оценки. Волошин был представлен не как «большой поэт», а всего лишь – «потрёпанный, бесцветный подголосок... декадентов», не как художник, разглядевший «новый трагический лик России», а как пёс, который «где-то в зарубежной печати скулил из подворотни на нашу революцию». Было ещё гнусное выступление того же Сосновского в той же «Правде» 2 сентября; были ещё различные твяканья и укусы. Но главный удар обрушился на поэта в самом конце года, когда в четвёртом (ноябрьском) номере журнала «На посту» появилась статья Б. М. Таля (в 1930-е годы он будет занимать пост главного редактора «Правды») под убийственным названием «Поэтическая контрреволюция в стихах М. Волошина».

Тенденциозно выдёргивая цитаты и прибегая к огульным обобщениям, критик пытается полностью представить Волошина как поэта из вражеского стана. Так, например, в стихотворении «Родина», написанном 30 мая 1918 года, поэт пишет, что «не окончена

борьба», то есть продолжается никому не нужная усобица; критик же вспоминает по этому случаю, что в то время начался мятеж чехословаков и Волошин этой строкой выражает надежду на «близкое падение Советской власти». Прочитывая строчки из «Заклятья о Русской земле»: «По всему полю дикому, великому/ – Кости белые. Кости сухие, пустые...», Таль безапелляционно комментирует: «Это белогвардейцы, павшие в борьбе с Советской Россией» (как будто у красноармейцев кости красные); Волошин, стало быть, стремится оживить «мертвецов контрреволюции» для борьбы с рабоче-крестьянским государством, всё-таки революционно-социалистическое литературоведение – тонкая штука; оно требует изощрённого ассоциативного мышления... И уж раз это стихотворение попало в берлинский монархический сборник «Детинец» (о котором Волошин никогда и не слышал), значит, поэт является активным сотрудником этого эмигрантского издания. А как забыть спасение им «белого генерала»?! (Н. Маркс постоянно менял свой «цвет», в зависимости от того, кто и с какой целью обращался к этой истории.) Нахватавшись вершков из книги «Путями Каина», напостовский Писарев обзывает Волошина «певцом средневековья» и «поэтом-аристократом». Главное – навесить ярлык и отшлифовать вывод: Волошин – «последовательный, горячий и выдержанный контрреволюционер-монархист». Как тут не вспомнить, что незадолго до этого ещё один эстет-«ревнитель», только из ЛЕФа, – Н. Чужак, утверждал: революция, согласно волошинским взглядам, развивается «путями Каина».

Поначалу поэт был в шоке. Ещё раньше, 16 октября, он жаловался Вересаеву: «Никогда я не чувствовал, как теперь... всю неуместность моих мыслей, моих стихов, самого факта моего существования». А что же говорить теперь... Вступить в полемику, попробовать оправдаться? Вересаев отговаривает его от этих намерений: «Сидеть над клопом и убеждать его, что нехорошо испускать такие скверные запахи!» Стоит ли провоцировать этого «клопа» на новые обвинения, давать ему дополнительный материал для более тяжёлых обобщений?!

И всё же Волошин не побоялся отправить в редакцию журнала письмо, в котором попытался, как это делал обычно, чётко выразить и отстоять свою позицию. Он еще раз подчёркивает, что его стихи «далеки от современных политических и партийных идеологий». Ведь написал же он в одном из вариантов «Доблести поэта»:

Помни, что для тебя партии, клички, программы –  
То же, что списки больных для врача сумасшедшего дома...

Потом, правда, с грустью сетовал на незавидную участь поэта:

Будь изгоем при всех царях и народоустройствах:  
Совесь народа поэт. В государстве нет места поэту...

Обращаясь к самому Б. Талю, Волошин идёт ещё дальше: «Я не нейтрален, а гораздо хуже: я рассматриваю буржуазию и пролетариат как антиномические выявления единой сущности... Понятия „России“ и „Русского царства“ для меня вовсе не совпадают с понятием „Монархизма“... Этапы текущей революции я рассматриваю с точки зрения всей Российской и Европейской истории». Касаясь так называемой «лояльности», Волошин не пытается как-то обелить себя или придумать защитную маскировку. «Кому нужно – тем это известно», – с чувством собственного достоинства закрывает он тему.

Но тема эта всё же нуждается в некоторых дополнениях. Не подлежит сомнению тот факт, что статья Талья в той или иной мере была вызвана публикацией в Берлине волошинского сборника «Стихов о терроре». Правда, критик не делает прямых ссылок на эту публикацию; он лишь упоминает отзыв Е. Зноско-Боровского об этом издании в парижской газете «Последние новости». Ясно и то, что Волошин понимал, откуда ветер дует. Поэтому, отвечая Талю, поэт смел и в то же время осторожен. Открыто выражая свои взгляды, он не упоминает о нелегальной передаче А. С. Яценко письма и стихов, но и отказаться от своей причастности к берлинским публикациям не может. Волошин избирает дипломатическую

форму признания одного и непризнания другого: «С моего ведома и разрешения были опубликованы только те мои стихи, которые шли через руки В. В. Вересаева (а в 1921 г. и С. Парнок), все же остальные как в России, так и за границей печатались и печатаются без моего ведома, разрешения, оплаты, лицами мне неизвестными и в искажённых текстах; следить за этим из Коктебеля я не имел возможности.

То же относится и к злоупотреблению моим именем в списках сотрудников эмигрантских изданий. Могу ещё сообщить Талю, что имя моё видели и в списке сотрудников „Нового Времени“, и национально-патриотического издания „Зарницы“. „Детинец“ для меня новость, так же как и собственная моя книжка „Стихи о терроре“, о которой пишет Зноско-Боровский (посылая стихи Яценко, Волошин не мог предположить, что они выйдут ещё и отдельной книжкой с таким названием. – С. П.). Содержание её, очевидно, так и останется для меня тайной, так как она запрещена к ввозу в Россию. Только берлинское переиздание моей книги „Демоны глухонемые“ (1-е изд. в 1919 г. в Харькове при Советской власти) сделано с моего ведома и разрешения.

Достопримечательно, что моим именем за границей пользуются преимущественно те органы, которые меня особенно шельмовали раньше». (Письмо в редакцию // Красная Новь, 1924, № 1 (18), январь-февраль.)

Между строками этого письма угадывается и причина отказа поэта от поездки в Берлин (лишнее подтверждение его «лояльности»), и предполагаемая поездка в Москву, где он надеялся выступить со своими стихами перед высшим советским руководством.

Отбросив дипломатические нюансы и тенденциозные обвинения, мы можем констатировать одно: в творчестве Волошина отсутствуют произведения, направленные против советской власти. «„Анτισоветских стихов“ у меня вообще нет, – напишет поэт известному врачу И. М. Саркизову-Серазини в феврале 1931 года, – по той причине, что я вообще политику не приемлю ни в какой форме... Что касается до распространения моих стихов внутри России, то это идёт совершенно вне моих намерений и ведома. А списывать их у себя я никому не запрещаю – принципиально».

Ещё 23 ноября 1920 года, то есть в первый же месяц существования новой власти в Крыму, «контрреволюционер-монархист» пишет стихи, посвящённые прославившейся в боях с белыми Сибирской 30-й дивизии. Поэт верит, что новая Россия должна встать «во главе мировой социальной культуры». Он не подвергает критике официальный курс страны. «Дух» его по-прежнему «в России» и с Россией. Поэт совершает даже нечто для себя нехарактерное: подписывает коллективное письмо в ЦК партии, в котором группа советских писателей выражала свою лояльность по отношению к молодой Советской республике и заявляла о нерасторжимости творчества «с путями советской послеоктябрьской России».

Что это – беспринципность, прекраснодушие или «великое познание»? В письме к партийному работнику И. З. Каменскому 1 января 1924 года Волошин выскажет свои взгляды следующим образом: «Вообще я считаю себя вполне легальным: советское правительство я признавал с самого начала, в частном своём обиходе я провожу коммунизм более строго, чем большинство политических коммунистов. Но марксизм и экономический материализм мне глубоко чужды – всей моей натуре и всему моему образу мыслей, которые совершенно не терпят ни политики, ни системы марксовых классификаций, ни самого понятия материализма, который считаю научным абсурдом».

Макс принял революцию, утверждала Мария Степановна, «сам включился в неё, читал солдатам и матросам лекции по истории искусства... в автобиографии, всё взвесив и обдумав, он говорит, что революция его ни в чём не разочаровала, он ждал её и думал, что она будет ещё более жестокой... У него была тяжёлая и счастливая судьба. Его не затронули репрессии, хотя доносов было предостаточно. Он и умер в срок, остался в любимом Коктебеле, а не сгинул, как многие другие, в тюремных подвалах». Приводя эти слова М. С. Волошиной (которые оставим без комментариев), её собеседник Э. М. Розенталь делает в своей книге ряд интересных умозаключений: «Макс Волошин был действительно убеждён в своей причастности к судьбам страны, не очень к нему ласковой... Большевизм,

по его словам, оказался неожиданной и глубокой правдой о России, которую предстоит связать со всем нашим мирозерцанием... И всё же вера в Россию, в её будущее была стержнем его творчества... путь один – сойти с пути первоубийцы Каина, прийти к всеобщему, вне разделения на любые взгляды, примирению и любви... И тут просвечивается всё тот же императив всей волошинской философии и религии: не уклоняться от зла... а, приняв в себя, преодолеть его» («Планета Макса Волошина»).

## СРЕДИ ВЕРХОВНЫХ РИТМОВ МИРОЗДАНИЯ...

Но этот мир, разумный и жестокий,  
Был обречён природой на распад.

### Мятеж

И нищий с оскоплённою душою,  
С охолощённым мозгом торжествует  
Триумф культуры, мысли и труда.

### Машина

К середине 1920-х годов Максимилиан Волошин завершает свой многолетний труд – книгу «Путями Каина». Она представляет собой историософское и культурологическое исследование цивилизации. В ней, по словам поэта, сформулированы все его «социальные идеи, большую часть отрицательные». Но мало этого... Не удовлетворяясь констатацией «трагедии материальной культуры» (подзаголовок книги) на земле, Волошин как истинный «путник по вселенным» пронизывает взглядом космос, в нём ищет закономерности и указывает перспективы развития мироздания.

Характеризуя «философские послереволюционные стихи Волошина», С. Маковский отмечает («несмотря на отдельные лирические взлёты») отход художника от лирической стихии. В них, «может быть, и больше мысли, метафизической риторики и выпукло-определяющих слов, чем того, что собственно составляет поэзию, т. е. звучит за мыслью и словами. Ритмованная мудрость, а не песня, во многих случаях – это стихи, так глубоко провеянные тысячелетиями средиземноморской культуры с её эзотерической углублённостью в загадки духа и плоти, что и сам Волошин кажется, в наш немудрый век, не то каким-то последним заблудившимся гностиком-тамплиером, не то какой-то гримасой трагической нашей современности накануне новой, неведомой судьбы...». Волошинская «риторика», считает Маковский, достигает такой силы, «что тут грани стираются между изреченным словом и напором вдохновенного чувства».

Главными особенностями книги «Путями Каина» составители двухтомного парижского собрания стихотворений Волошина (1982; 1984) – Б. Филиппов, Г. Струве и Н. Струве – называют «мистический рационализм» и публицистичность. Поэт, согласно их точке зрения, стремился преодолеть стихию словесного символизма, «овеществить слово, сделать его плотным, осязаемым – и сообразовать не с материалом, а с материей... самого предмета, о котором идёт речь. Это в поэме „Путями Каина“ доведено до плакатной броскости и тяжеловесной упругости».

Основная работа над книгой (циклом, поэмой) велась в 1922–1923 годах. Однако магистральные идеи этого произведения сложились у Волошина значительно раньше – в 1904–1907 годах. В период Первой мировой войны им были написаны стихи, ставшие главами поэмы, – «Левиафан» (1915) и «Суд» (1915), в последней редакции завершающие книгу. Само же её название неоднократно менялось: «Война и мир», «Распятый Прометей»,